

Данил Юртаев

Маньяк с главной улицы

Данил Юртаев

Маньяк с главной улицы

<https://litres.ru/74559184>

SelfPub; 2026

Аннотация

История разворачивается в старом районе Ноттингема, в ноябре 1888 года. Гильберт Финч — часовщик на Кэтрин-лейн — становится невольным свидетелем и участником расследования серии убийств одиноких женщин. Все жертвы задушены тонкой верёвкой с морским узлом-«восьмёркой», а руки им заботливо сложены на животе — как извинение.

Данил Юртаев

Маньяк с главной улицы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТУМАН НА УЗКОЙ УЛИЦЕ

Глава 1. Мастерская на углу Кэтрин-лейн

Ноттингем в ноябре — это город, который забывает собственное имя. Туман, поднимающийся с берегов Трента, ползёт по узким улицам старого района, как серая кошка, что живёт под навесом мясной лавки на Шериф-стрит. Он забирается под двери, оседает на оконных стёклах мелкой холодной росой и превращает каждый силуэт в тень, каждую тень — в намёк, каждый намёк — в ложь.

Гильберт Финч любил этот туман. Не за красоту — за честность. В тумане всё становится неясным, и это, по его мнению, было единственно верное состояние мира. Гильберт чинил часы. Он делал это тридцать один год — с того дня, как его отец, старый Артур Финч, кашлянул последний раз в спинку дубового кресла и оставил сыну мастерскую, долг по аренде и жестяную коробку с долгами. Гильберт тогда было двадцать три. Теперь — пятьдесят четыре, и спина его уже не гнулась над верстаком с той лёгкостью, что в молодости, но пальцы — пальцы оставались точны. Пальцы — это всё, что нужно часовщику. Пальцы и терпение.

Мастерская помещалась на углу Кэтрин-лейн и переулочка, который не имел официального названия, но все называ-

ли Мёртвым — потому что он упирался в кирпичную стену склада и заканчивался тупиком, где подмастерья с соседних лавок мочились по пятницам после получки. Над дверью мастерской висел жестяной щит с нарисованными часами — стрелки показывали десять минут третьего, и Гильберт никогда их не поправлял. Он говорил: «Время идёт одинаково для всех. А эти часы показывают, что пора уже зайти».

В то утро — двенадцатого ноября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года — Гильберт сидел за верстаком и перебирал механизм старых каминных часов, которые принесла ему вдова Парнелл с Лоув-стрит. Часы были немецкие, начала века, с кукушкой, которая давно потеряла голос — пружина лопнула, и кукушка застряла внутри деревянного домика, как узник в темнице. Гильберт вытащил её, повертел в пальцах — фигурка была вырезана из липы, с крошечными глазками-точками и распростёртыми крылышками. Жалкая птица. Он положил её на бархатную подушечку и взялся за пружину.

За окном туман загустел до состояния молочного супа. Гильберт видел не дальше фонарного столба на углу — а фонарь был потушен, потому что фонарщик Тобиас напился накануне и не вышел на работу. Так что мастерская висела в жёлтом свете двух масляных ламп, как корабль в туманном море, и Гильберт чувствовал себя его единственным пассажиром.

Дверной колокольчик звякнул в половине десятого.

— Открыто, — сказал Гильберт, не поднимая головы. Он привык к тому, что люди заходят и стоят у двери, пока не обратят на них внимания. Он считал это проявлением робости, которой страдают все, кто переступает порог чужого мастерства. Люди боятся мастеров. Мастер знает то, чего не знают они, и это знание — как маленькая власть.

— Мистер Финч, — голос был женский, тонкий, с хрипотцой, — мне сказали, вы чините всё, что тикает.

Гильберт поднял глаза. У стойки стояла женщина лет тридцати — может, чуть меньше, но старый район старил людей быстрее, чем время. Она была одета в тёмно-синюю шаль поверх серого платья, и волосы её — каштановые, выбившиеся из-под чепца — были влажны от тумана. Лицо было узкое, с высокими скулами и ртом, который казался слишком большим для такого лица — словно она хотела сказать что-то и забыла, но рот остался открытым. Глаза — серые, быстрые, с той особенной настороженностью, какую Гильберт видел у кошек, живущих у доков: они всегда готовы бежать, но не бегут, потому что любопытство сильнее страха.

— Всё, что тикает, — подтвердил Гильберт. — А что не тикает — тоже чиню, если это сделано из металла и не больше стула. Стулья я не чиню. Стулья — это к Хендерсону на Брод-стрит.

Женщина чуть улыбнулась — одной стороной рта, как будто вторая сторона была занята другой мыслью.

— Меня зовут Лиззи. Лиззи Барель. Я живу на Мейн-

стрит — дом четырнадцать, над пекарней. У меня есть часы — карманные, отцовские. Они остановились в августе и с тех пор не идут. Я носила их к мистеру Питеру на Уикенд-стрит, но он сказал, что механизм слишком старый и запчастей не найти. А мне сказали, что вы можете всё.

Гильберт протянул руку. Лиззи вынула из кармана шали небольшой предмет, завёрнутый в синий лоскут. Она развернула его с осторожностью, которая показалась Гильберту чрезмерной — словно внутри было что-то живое. Часы были серебряные, в корпусе с гравировкой — выющийся цветок, похожий на незабудку, — и монограммой «Е.В.». Внутри — механизм английский, конца восемнадцатого века, хорошей работы, но изношенный до предела. Камни были стёрты, пружина ослабла, баланси́р качался с дрожью, как старик с лихорадкой.

— Отец купил их в сорок восьмом году, — сказала Лиззи, пока Гильберт разглядывал механизм через лупу. — Он был моряк. Ходил в Индию, привозил чай и ткани. Когда он выходил в море, мама держала эти часы в руках и слушала — тик-тик-тик — пока они не остановились. Она говорила, что когда часы останавливаются, значит, папа в порту. Когда он вернулся в последний раз, часы остановились на суше. Мама сказала: «Значит, он больше не уйдёт». И он не ушёл. Он умер через три месяца — от лихорадки, которая пришла не из моря, а из сточной канавы за домом.

Гильберт молчал. Он знал этот обычай — вдовы моряков

рассказывали истории своих часов так, словно оправдывались перед кем-то. Он не перебивал. История была частью механизма — без неё часы стоили не больше серебра в корпусе, а с ней — были чьей-то жизнью.

— Я почию, — сказал он. — Через неделю. Приходите в пятницу.

— Сколько я должна?

— Два шиллинга. Запчасти есть у меня, я делаю их сам.

Лиззи кивнула, положила на стойку два шиллинга и медный полупенни сверху — «за честность», как она сказала. Гильберт взял монеты и проводил её взглядом до двери. Когда колокольчик звякнул второй раз, он заметил, что на полу остался мокрый след от её башмаков — след вёл от двери к стойке и обратно, как тонкая линия, нарисованная ребёнком. Он смотрел на него минуту, потом встал и вытер пол тряпкой.

Он не знал тогда, что видит Лиззи Барель в последний раз, когда она ещё была жива.

Глава 2. Первое тело

Через три дня — пятнадцатого ноября, в четверг — Гильберта разбудил стук в дверь. Не в дверь мастерской — в дверь его жилища, которое помещалось над мастерской и состояло из комнаты, кухни и чулана, где хранились жестяные коробки с деталями и жестяная же коробка с письмами матери, которых он никогда не перечитывал. Стук был настойчивый, грубый, неуёмный — такой стук мог произвести только

кулак человека, который либо очень зол, либо очень напуган.

Гильберт накинул халат и спустился. За дверью стоял мальчишка лет двенадцати — босой, в куртке на голое тело, с лицом, на котором туман и ужас оставили одинаковый след: всё было серым, и только глаза — огромные, карие — были живыми.

— Мистер Финч! — закричал мальчишка. — Там, на Мёртвом переулке! Там баба лежит! Мёртвая!

Гильберт смотрел на мальчишку. Потом надел ботинки, пальто и вышел.

Мёртвый переулок — тот самый тупик, который упирался в стену склада — был в тридцати шагах от его двери. Там уже стояли двое: мужчина в рабочей блузе и женщина в переднике — они стояли неподалёку от тела, не подходя ближе, как зрители у клетки с диким зверем. Гильберт подошёл.

Тело лежало у стены склада, на булыжнике, на спине. Это была женщина — молодая, лет двадцати пяти, не больше. Она была одета в тёмное платье, и платье это было задрано до колен, а на шее — на шее было то, от чего Гильберт отступил на шаг. На шее была верёвка — не грубая пеньковая, а тонкая, плетёная, из тех, какими перевязывают посылки. Она была затянута узлом — тугим, маленьким, аккуратным, как будто тот, кто её затягивал, знал толк в узлах. Лицо женщины было синим, и язык — длинный, тёмный — вывалился изо рта, как у марионетки, которую дёрнули за неправильную нитку.

Гильберт стоял и смотрел. Он не чувствовал тошноты — тридцать один год работы с механизмами научил его смотреть на вещи, которые перестали функционировать, с тем отстранённым вниманием, с каким врач смотрит на больной орган. Но здесь было другое. Часы не чувствуют боли. Часы не синие. У часов не вываливается язык.

— Кто это? — спросил он у мужчины в блузе.

— Не знаю, — мужчина не смотрел на тело, он смотрел на стену склада, словно искал на ней что-то, что объяснило бы происходящее. — Я шёл на работу — к семи — и увидел. Она уже была холодная.

Женщина в переднике — повариха из таверны «Подкова», как узнал позже Гильберт — заплакала тонко и тихо, как собака, которой наступили на лапу.

Гильберт присел на корточки. Он не трогал тело — он уже знал, что трогать нельзя, потому что в Ноттингеме, хоть и не было своего сыщика, но был полицмейстер, и полицмейстер не любил, когда граждане портили ему улики. Он разглядывал. Верёвка. Узел. Платье. Башмаки — стоптанные, с заплатой на левом. Руки — сложенные на животе, как у спящего. Это показалось ему странным. Если женщина была задушена — а она была задушена, в этом не было сомнений — то как её руки оказались сложены? Мёртвые не складывают руки. Их складывает кто-то другой.

— Кто-то положил ей руки, — сказал Гильберт вслух.

Мужчина в блузе посмотрел на него с тем выражением, с

каким смотрят на человека, сказавшего что-то одновременно верное и неуместное.

— Вам лучше уйти, мистер Финч, — сказал он. — Приедет полиция.

Гильберт кивнул и вернулся в мастерскую. Он закрыл дверь, сел за верстак и попытался продолжить работу — но пальцы не слушались. Они дрожали — впервые за тридцать один год. Он смотрел на свои руки и думал: эти руки чинят часы, они возвращают время, они делают тик-тик-тик снова, но они не могут сделать тик-тик-тик для той женщины в Мёртвом переулке. Часы можно починить. Человека — нет.

Он сидел так, пока колокольчик на двери не звякнул снова, и в мастерскую не вошёл полицмейстер Гардон.

Глава 3. Лиззи Барель

Прежде чем продолжать, нужно рассказать о Лиззи Барель — потому что без неё ничего не случилось бы. Не было бы ни тумана, ни верёвки, ни дрожащих пальцев Гильберта, ни всего того, что последовало. Лиззи была не причиной — она была ключом. А ключ, как знает любой часовщик, — это маленькая вещь, без которой большой механизм не открывается.

Лиззи Барель было двадцать восемь лет. Она родилась в Ноттингеме, в доме четырнадцать по Мейн-стрит, и в этом же доме умерла — хотя в день её прихода в мастерскую Гильберт об этом не знал. Она была дочерью моряка Эдварда Бареля и швеи Марты Барель, урождённой Кросс. Эдвард уто-

нул — не в море, а в Лент-канале, когда Лиззи было одиннадцать. Он возвращался из публичного дома, оступился на мостках и упал в воду, которая была глубиной по колено, но он был настолько пьян, что не смог встать. Марта Барель нашла его утром — он лежал лицом в ил, и ноги его торчали из воды, как два бревна, выброшенных приливом. Она не закричала. Она сняла башмаки, вошла в воду и вытащила его. Потом сидела на мостках и держала его за руку, пока не пришла полиция. Лиззи это помнила — она смотрела из окна спальни.

После смерти отца Лиззи и мать жили тем, что Марта шила. Она шила всё — платья, передники, саваны. Саваны были самым надёжным доходом — в старом районе люди умирали регулярно, как часы, и каждому нужен был саван. Лиззи помогала — она резала ткань, подшивала края, пришивала пуговицы. У неё были руки швеи — тонкие, быстрые, с наколотыми пальцами — и лицо, которое в пятнадцать лет было красивым, а в двадцать — уже нет, потому что красота требует еды, сна и покоя, а у Лиззи не было ни того, ни другого, ни третьего.

Когда Марта умерла — от чахотки, в восемьдесят шестом году, — Лиззи осталась одна. Она не вышла замуж, хотя могла бы: в старом районе незамужняя женщина в двадцать шесть лет — это уже почти позор, и соседи шептались, что «Лиззи Барель, видимо, слишком хороша для нас, раз ни один мужчина ей не глянется». На самом деле Лиззи нико-

му не отказывала — просто никто не спрашивал. Мужчины в старом районе были либо женаты, либо пьяны, либо то и другое сразу. Лиззи держала пекарню на первом этаже дома четырнадцать — ту самую пекарню, над которой жила. Она пекла хлеб — простой, ржаной, с отрубями — и булочки с изюмом по субботам. Хлеб был тяжёлым, как камень, и таким же серым, как туман, но люди покупали его, потому что он был дешёв, а другого поблизости не было.

Лиззи была женщиной тихой. Не молчаливой — именно тихой: она говорила негромко, двигалась плавно, и даже когда злилась — а она злилась, потому что тихие люди злятся сильнее громких, просто внутри — даже тогда её голос не повышался. Она злилась на туман, на сырость, на хлеб, который не поднимался в сырой печи, на соседей, которые не платили вовремя, и на себя — за то, что осталась одна, и не знала, кого в этом винить.

Гильберт увидел её трижды. Первый раз — в тот день, когда она принесла часы. Второй — два дня спустя, когда она зашла спросить, не нужно ли Гильберту заказать хлеб, потому что «хлеб — это как часы, мистер Финч, — если он есть, всё работает, а если нет — всё стоит». Гильберт заказал. Третий раз — он видел её из окна, когда она шла по Кэтрин-лейн с корзиной, и туман обнимал её, как серый плащ, и на миг ему показалось, что она не идёт, а плывёт — беззвучно, бесшумно, как призрак, который ещё не знает, что он призрак.

А через день после этого её нашли.

Глава 4. Полиция

Полицеймейстер Эдвард Гардон был человеком крупным — не жирным, а именно крупным, как шкаф: широкий, с тяжёлыми плечами и шеей, которая уходила в воротник, как stump в землю. Ему было сорок шесть лет, и двадцать из них он прослужил в полиции Ноттингема — начиная констеблем на рын-площади и кончив полицмейстером старого района, что было не повышением, а скорее ссылкой, потому что старый район считался неперспективным: ни денег, ни престижа, ни перспектив. Но Гардон не жаловался. Старый район подходил ему, как старый костюм — нигде не жало, нигде не тянуло, и карманы были достаточно глубоки для того, чтобы класть в них то, что класть не следовало.

Гардон был нечист на руку. Это знали все — от булочника на Мейн-стрит до приходского священника в церкви Святой Марии — и никто не говорил вслух, потому что в старом районе говорить вслух о вещах, которые знаешь, — значит нажить неприятности, а неприятностей у всех было достаточно и без того. Гардон брал. Брал понемногу, регулярно, со всех — с владельцев лавок за «охрану», с возчиков за «разрешение», с пабов за «неинспекцию». Он не был жаден — жадность требует страсти, а Гардон был слишком тяжёл для страсти. Он был просто последователен: если можно взять — нужно брать, потому что если не возьмёшь ты, возьмёт кто-то другой, а ты останешься дураком с чистыми руками и пустыми карманами.

В мастерскую Гильберта он вошёл без стука — впрочем, дверь была не заперта, и колокольчик звякнул, но Гардон, казалось, не заметил его. Он снял фуражку, провёл рукой по коротким жёстким волосам — серым, как проволока — и сел на стул для посетителей, который скрипнул под его весом.

— Гил, — сказал он. Гардон звал Гильберта «Гил» — не потому что они были друзья, а потому что Гардон всех звал сокращённо, как будто полное имя требовало слишком много дыхания. — Ты видел.

Это не было вопросом. Гардон знал, что Гильберт видел — в старом районе новости передаются не почтой, а взглядами. К тому времени — а было около полудня — уже улицы знали о теле в Мёртвом переулке.

— Видел, — ответил Гильберт.

— Не трогал?

— Нет. Только смотрел.

— Что видел?

Гильберт рассказал. Верёвка — тонкая, плетёная. Узел — маленький, тугой. Руки — сложенные на животе. Башмаки — стоптанные. Гардон слушал, наклонив голову, как собака, которая слышит незнакомый звук. Когда Гильберт упомянул руки, Гардон поднял бровь.

— Сложенные?

— Сложенные. Как у спящего.

Гардон помолчал. Потом достал из кармана трубку, набил её, закурил. Дым смешался с туманом, который просачивал-

ся через щели в окнах, и воздух в мастерской стал серо-голубым, как вода в канале.

— Женщину зовут — звали — Марион Дрисколл. Жила на Снейнтон-роуд. Швея. Сорок лет, вдова. Последний раз видели её вчера вечером — шла из таверны «Корона» домой. Одна.

— А узел? — спросил Гильберт.

— Что — узел?

— Узел на верёвке. Он был не обычный. Он был морской.

Гардон посмотрел на Гильберта с выражением, которое Гильберт не мог прочесть — то ли удивление, то ли насто-роженность, то ли то и другое.

— Морской?

— Я чиню часы, Эдвард. Но мой отец был моряком — до того, как стал часовщиком. Он учил меня узлам. Это был «восьмёрка» — морской узел, который используют моряки для закрепления тросов. Его не вяжут женщины. Его вяжут те, кто был в море.

Гардон затянулся трубкой. Дым вышел из его ноздрей двумя ровными струями, как из трубы паровоза.

— Может, совпадение, — сказал он.

— Может, — согласился Гильберт. — Но руки сложены. Кто-то заботливо сложил ей руки на животе. Это не похоже на ограбление и не на насилие. Это похоже на ритуал.

— Ритуал, — повторил Гардон. Слово ему не понравилось — Гильберт видел это. Ритуал — это что-то сложное, что-то,

что требует расследования, а расследование — это работа, а работа — это то, чего Гардон не любил, если она не оплачивалась.

— Я разберусь, — сказал Гардон и встал. Стул вздохнул с облегчением. — Ты, Гил, не лезь. Это дело полицейское. Ты — часовщик. Чини свои часы.

Гильберт кивнул. Гардон надел фуражку и вышел. Колокольчик звякнул за ним, и в мастерской стало тихо — так тихо, что Гильберт слышал тиканье шестнадцати часов, которые стояли на полках, висели на стенах и лежали на верстаке. Шестнадцать голосов времени, каждый со своим темпом, каждый со своим тоном. Он слушал их, как слушал всегда, когда нужно было думать.

Марион Дрисколл. Швея. Сорок лет. Вдова. Восьмёрка — морской узел. Руки сложены.

И Лиззи Барель, которая жила на Мейн-стрит, над пекарней, и принесла ему отцовские часы, которые остановились в августе и с тех пор не шли.

Он ещё не знал, что эти две вещи связаны. Но туман знал. Туман в старом районе знал всё — просто не говорил.

Глава 5. Гардон

Нужно сказать о Гардоне больше — потому что в этой истории он не просто полицмейстер, он — препятствие. А препятствие, как знает любой часовщик, — это то, что мешает механизму работать, и что нужно либо убрать, либо обойти. Гильберт не мог его убрать. Но обойти — обойти пытался.

Эдвард Гардон родился в Лестере, в семье сапожника, который пил и бил жену, и сына. Эдвард не пил и не бил — но он унаследовал от отца не привычку, а нечто худшее: убеждение, что мир устроен так, что сильный берёт, а слабый отдаёт, и это — не хорошо и не плохо, а просто закон, как гравитация. Сапожник бил, потому что мог. Гардон брал, потому что мог. Разница была лишь в размере кулака.

В восемнадцать лет Эдвард ушёл из дома — не от отца, а от бедности, которая сидела в доме, как запах дёгтя, и не выветривалась. Он завербовался в армию, прослужил четыре года в Индии — и вернулся не героем, а человеком, который видел, как один человек убивает другого за горсть риса, и понял, что жизнь стоит дёшево, и тот, кто дорожит ею, — дурак. Это убеждение он принёс в полицию, и полиция приняла его с распростёртыми объятиями, потому что полиция любит людей, которые не дорожат жизнью — ни своей, ни чужой.

К сорока шести годам Гардон имел: должность полицеймейстера, дом на Касл-бридж-роуд, жену — тихую, полную женщину по имени Агнес, — двоих детей, которых видел по воскресеньям, и доход, который официально составлял сто двадцать фунтов в год, а неофициально — примерно вдвое больше. Он не был богат. Он был сыт. Сытость была его идеалом — не роскошь, не избыток, а ровная, надёжная сытость, при которой завтра будет то же, что сегодня. Он не хотел перемен. Перемены — это когда кто-то сверху приходит и

спрашивает, почему ты не сделал того, что должен был, и Гардон не хотел, чтобы кто-то приходил и спрашивал.

Поэтому, когда тело Марион Дрисколл нашли в Мёртвом переулке, Гардон сделал то, что делал всегда: осмотрел, записал, составил протокол и закрыл дело, написав «несчастный случай — самоубийство через удушение». Он написал это не потому, что верил в это, а потому, что самоубийство — это просто: нет убийцы, нет расследования, нет вопросов, нет перемен. Мёртвая женщина, верёвка на шее — кого это волнует? В старом районе каждый месяц кто-то умирал — от водки, от болезни, от холода, от тоски. Марион Дрисколл стала ещё одной строкой в журнале, который вёл Гардон, — строкой между записью о краже угля со двора Хендерсона и записью о драке в таверне «Корона».

Гильберт узнал об этом на следующий день — от мальчишки-посыльного, который принес ему хлеб из пекарни Лиззи Барель. Мальчишка — его звали, кажется, Ned, а может, и нет, потому что Гильберт не спросил и потом жалел — сказал: «Мистер Финч, Лиззи прислала хлеб. Она сказала, что вы заказали. И ещё она сказала, что слышала про женщину в переулке. Говорят, она сама себя удавила. Только как она сама себя удавила, если руки у неё были сложены?»

Гильберт взял хлеб и дал мальчишке полпенни. Потом сел и подумал.

Самоубийство. Через удушение. Веревкой с морским узлом. Руки сложены на животе.

Кто-то лгал. И Гильберт — человек, который тридцать один год чинил механизмы и знал, что если шестерёнка не входит в своё гнездо, то либо шестерёнка не та, либо гнездо не то, — Гильберт решил, что нужно посмотреть повнимательнее.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЕНЬ ЗА ГАЗОВЫМ ФОНАРЁМ

Глава 6. Незнакомец с Монпласье

В субботу — семнадцатого ноября — Гильберт закрыл мастерскую раньше обычного. Туман к тому времени стал настолько густым, что фонари на Кэтрин-лейн, даже зажжённые, выглядели как размытые жёлтые пятна, и идти по улице можно было, лишь держась за стены. Гильберт вышел, запер дверь и повернул на Мейн-стрит — не потому, что ему нужно было туда, а потому, что ноги понесли его сами. Ноги, как и туман, знали больше, чем голова.

Мейн-стрит была главной улицей старого района — широкой, мощёной булыжником, с лавками на первом этаже и жильём на втором. Здесь были: пекарня Лиззи, мясная лавка, аптека, две таверны — «Корона» и «Бычья голова», — часовая лавка Питера, и ещё дюжина заведений, каждое из которых торговало тем, без чего нельзя обойтись, и ничего из того, без чего можно. Улица была пуста — туман и субботний вечер разогнали людей по домам, и только собака — тощая, бурая — бежала по мостовой, принюхиваясь к булыжнику, как будто искала что-то конкретное.

Гильберт шёл и смотрел на окна. В большинстве горел

свет — тусклый, жёлтый, за занавесками. Он дошёл до дома четырнадцать — до пекарни Лиззи — и остановился. Окно над пекарней было темным. Это было странно — в шесть вечера в субботу Лиззи должна была печь хлеб на воскресенье. Он постоял, потом постучал в дверь пекарни. Никто не ответил. Он постучал снова — громче. Тишина.

— Мистер Финч? — голос раздался сзади. Гильберт обернулся. Из тумана, как из занавеса, появилась фигура — высокая, тонкая, в длинном чёрном пальто с воротником, поднятым до самых ушей. На голове — цилиндр, блестящий от влаги. Лицо — узкое, бледное, с тонким носом и губами, которые были сжаты в такую тонкую линию, что казались шрамом. Глаза — тёмные, почти чёрные, с тем странным блеском, какой бывает у людей, которые видят мир не таким, как все, а немного сдвинутым — как будто зеркало, в которое они смотрят, слегка кривое.

— Вы мистер Финч, часовщик? — повторил незнакомец. Голос был тихий, с лёгким акцентом — не французским, как можно было ожидать от человека в таком пальто, а скорее тем тоном, который бывает у людей, говорящих на языке, который не был первым, но стал главным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.